

Е.Д. Поливанов

**Русская грамматика в сопоставлении с
узбекским языком**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 81
ББК 81
Е11

Е11 **Е.Д. Поливанов**
Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком / Е.Д. Поливанов – М.: Книга по Требованию, 2021. – 182 с.
ISBN 978-5-458-55480-0

ISBN 978-5-458-55480-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ВВЕДЕНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ПРЕДМЕТ ГРАММАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Перед изложением грамматических фактов русского языка вполне уместно уделить место вопросу: что именно, какой именно „русский язык“ служит предметом школьного изучения и предметом описания в настоящей „Грамматике“, и каковы те социологические признаки, которые отличают этот „русский язык“ от других смежных с ним языковых систем?

При этом будет удобнее начать с анализа значения второго слова из тех двух слов, которые составляют термин „русский язык“, то-есть со слова „язык“.

Нужно указать, что и в популярной, и в научной лингвистической литературе слово „язык“ употребляется в различных смыслах, т. е. имеет несколько совершенно различных значений. Например, под этим термином (т. е. под словом „язык“) нам могут встретиться следующие понятия:¹

1. Язык в смысле речевой способности, совокупности речевых явлений вообще и всех наличных систем человеческой речи.

2. Язык в смысле всякой дифференцируемой речевой системы, так что этот термин („язык“) может быть приложен и к территориальному, и к социально-групповому, напр. (классовому) диалекту и т. д. Такое употребление слова „язык“ мы найдем в следующих, напр., фразах:

„Язык рабочих сильно отличался от языка до-революционной интеллигенции“.

„В работе тов. И. Гасанова описывается язык образованных классов города Ганджи“ и т. п.²

3. Язык в смысле совокупности говоров данной национальности (напр., в заглавии университетского курса лекций: „История русского языка“).

4. Язык в смысле устного (или же и устного, и письменного) стандартного диалекта (т. е. речевой системы господствующего класса) данной национальности. Так как предметом школьного преподавания служит именно стандартный (или „литературный“) диалект или, что то же стандартный язык данной национальности, то

¹ Не останавливаясь уже на физиологическом значении слова „язык“: язык — как физиологический орган речи (язык во рту). Это наиболее конкретное из значений слова „язык“ является, очевидно, этимологически-первичным, и из него произошли впоследствии другие значения („язык“ в смысле системы речи и т. д.), конечно, по той причине, что язык играет роль важнейшего из наших органов произношения (по сравнению с губами, небной занавеской, т. е. „мягким небом“ и т. д.). Сравним подобное же двустороннее употребление слов, обозначающих „язык“, и во многих других языках, напр., в латинском (lingua), во французском (la langue), греческом (glōssa), английском (-tongue; хотя для вторичного значения здесь есть и заимствованный из французского термин: language), в турецких языках (tili), или в османском, туркменском, азербайджанском — dil), эстонском (keel) и т. д. и т. д.

² Словосочетание „язык образованных классов“ заимствуется мною из самой работы т. Гасанова (посвященной ганджинскому говору азербайджанского языка).

в этом именно значении нами обычно и понимаются такие выражения, как „немецкий язык“, „французский язык“, „английский язык“ и т. д.

Не будем останавливаться на прочих окказиональных значениях; вышеуказанных четырех основных значений уже достаточно для того, чтобы обнаружить многообразный характер слова „язык“ в нашем, не только обывательском и популярном, но и научном словоупотреблении. На противоречивость значений слова „язык“ обращено было внимание и тов. Сталиным: в одной из своих речей он констатирует мнимое противоречие между ожидавшимся сокращением числа языков (т. е. числа языковых систем), которое должно было иметь место (и фактически имеет место) в эпоху строительства социализма в СССР и, с другой стороны, одновременным же увеличением числа языков (фактически: увеличением числа литературных языков) в виде целого ряда новых, донныне не существовавших, письменных языков у восточных, северных и др. национальностей Союза. Вполне правильно ожидаемое сокращение числа языков (если под языком здесь понимается всякая дифференцируемая речевая система), без всякого сомнения, и на деле имеет место в нашем Союзе: если общее направление языковой истории в сторону сокращения числа (т. е. объединения) диалектов и языков, было характерно и для капиталистического строя,¹ то тем более оно неизбежно в экономических условиях нашей эпохи, эпохи построения бесклассового социалистического общества. И этот процесс „объединения“ отнюдь не исключает появления новых „литературных“ (точнее: письменно-литературных) языков, что в свою очередь составляет характерную черту советской национально-языковой политики. Наоборот, оба процесса даже органически увязываются друг с другом: появление письменного стандартного диалекта (т. е. письменно-литературного языка) ускоряет процесс объединения разговорных говоров (respective диалектов, наречий) данной национальности. Таким образом, это мнимое противоречие (между сокращением и увеличением числа языков) оказывается основанным именно на двустороннем значении термина „язык“.

В каком же смысле, в каком из вышеперечисленных значений будет употребляться термин „язык“ в словосочетании „русский язык“, на страницах настоящей книги?

Разумеется, здесь имеется в виду не совокупность всех тех (территориальных и социально групповых) диалектов и говоров, которые существуют у русской национальности во всех ее районах и во всех ее общественных классах, а наоборот лишь одна определенная речевая система, иначе говоря лишь один диалект из всей этой совокупности русских диалектов. И именно тот диалект, который является стандартным, или „литературным“ русским языком в современную нам, революционную эпоху.²

¹ Тогда как примитивные формы экономического быта (до перехода к товарному хозяйству), обуславливают, наоборот, противоположный путь языковой истории: с относительным преобладанием случаев „диалектического дробления языков“ над случаями „объединения диалектов и языков“.

² Поскольку в современном русском языке (и именно после 1917 года) различия между письменно-литературным языком (т. е. той речевой системой, которая используется нашей современной литературой и прессой) и „устным стандартом“ оказываются, в общем, весьма незначительными, мы можем позволить себе игнорировать противоположение этих двух систем, и говорить просто об одном „стандартном“ языке. В узбекском же языке (даже в современном его состоянии, после революции) дело обстоит иначе: здесь письменно-литературный стандарт не может быть отождествлен ни с одним из живых (устных) узбекских говоров. Что же касается стандартизации этих последних (т. е. живых узбекских говоров), то она является еще делом будущего: по сравнению с русскими экономическими условиями (— в частности, товаризацией русского помещичьего хозяйства, приведшими к выработке устного классового стандарта уже к исходу XVIII века, узбекский национальный коллектив находился на значительно более низкой степени социально-экономического развития, почему у узбеков и не произошло обще-территориального объединения господствующего класса на почве устного языка, т. е. так называемого процесса „койнизации“ (термин „койнизация“ произведен от греческого слова *κοινὴ* в словосочетании *κοινὴ διάλεκτος*, т. е. „общий диалект“); как показывают примеры западно-европейских стран и Японии, процесс

Иначе говоря, здесь (в выражении „русский язык“) термин „язык“ будет употребляться нами в смысле одного лишь диалекта, и именно — стандартного диалекта. Поэтому нам и следует приступить здесь к пояснению этого значения термина „язык“ (чтобы затем перейти уже к понятию „русского языка“).

У большинства лингвистов предшествующего поколения, мало уделявшего внимания социальным моментам языковых явлений, в их определении „языка“ (как всякой дифференцируемой речевой системы) просто опускался тот важнейший признак, без которого язык был бы никому не нужен и просто не существовал бы: именно — признак тождества ассоциационных рядов (между смысловыми представлениями и языковыми знаками, или словами) у всех потенциальных участников данного языкового общения. Мы позволяем себе поэтому, наоборот, подчеркнуть социальный момент в определении языка (как дифференцируемой речевой системы), и скажем: язык есть тождество систем произносительно-звуковых символов, присущих участникам того или другого коллектива, определяемого наличием специфических кооперативных потребностей (которые именно и обуславливают надобность в общем и едином языке для этого коллектива).

Итак, система словесных знаков (символов), выдуманная одним только индивидуумом и никем другим не употребляющаяся, не есть еще язык, хотя бы даже эта система и была гениальной выдумкой. Тут просто отсутствует социальный заказ, а значит не может иметь место и то социальное явление, которое именуется языком (или речевой системой).

В искусственном языке эсперанто мы имеем, конечно, уже другое: это, действительно, язык, и здесь налицо все признаки вышеприведенного определения: эсперанто объединяет собою коллектив людей, связанных специфическими кооперативными потребностями общения; во всем своем объеме этот коллектив не может обслуживаться никаким другим языком кроме данного (противное означало бы ненужность в эсперанто и в самой идее искусственного международного языка), а это уже и означает социальный заказ на данную речевую систему, т.-е. дает почву для социального существования данной системы в качестве языка.

Однако, внутри крупного коллектива, объединяемого известными кооперативными связями и возможностью перекрестного языкового общения, — в частности, например, в национальном коллективе, всегда можно выделить группы, связанные (внутри себя) еще более тесной сетью экономических связей; фактическая потребность в перекрестном языковом общении, разумеется, будет для каждой из этих групп более реальна, чем для всего (национального) коллектива в целом.

Иначе говоря: на общем фоне известных кооперативных связей мы найдем еще более тесные и специфические кооперативные связи внутри отдельных групп. Соответственно этому, нужно знести признак относительности в понятие тождества ассоциационных систем, которое, как мы уже сказали, ложится в основу нашего определения языка. Есть тождество более или менее полное — у небольших, тесно связанных (внутри себя) групп, и тождество неполное — у всего (национального) коллектива, в который входят все эти группы.

В последнем случае общий язык обеспечивает лишь возможность взаимного понимания (да и то, строго говоря, лишь в пределах определенных тем — соответственно тому характеру кооперативных связей, который объединяет всех членов данного коллектива), но отнюдь не единую характеристику системы языкового мышления (в фонетическом, морфологическом и т. п. отношениях).

Колонизации обыкновенно соответствует определенной стадии капиталистического развития (для Японии усвоение европейско-американских форм хозяйства в конце XIX и начала XX века, которая оказывается вполне несоизмеримой с экономическим состоянием узбекского нац. коллектива в эпоху до русского завоевания, как и в эпоху царской колонизации).

Из этого и проистекает деление языка (в смысле языка определенной национальности) на наречия, и далее соответственно уменьшению группы и увеличению сети специфических кооперативных связей внутри группы, на диалекты и говоры, и в конце концов — на „семейные говоры“, устанавливаемые благодаря наличию специфических языковых *usus*’ов внутри отдельных семейных ячеек.¹

Каковы же те внеязыковые факторы, которые создают внутри национального коллектива группу, обладающую с в о и м диалектом (*respective* наречием или говором)? В первую очередь здесь следует указать на территориальный, или географический момент.²

Совершенно ясно, что у жителей одного района (внутри определенной национальной территории) будут гораздо более реальные и многообразные кооперативные связи (а значит и потребности в языковом общении), чем связи, так сказать, „междурайонного“ характера. Это, следовательно, момент территориального формирования диалектов.

Однако, он не имеет абсолютного значения: ⁴ при определенных условиях экономического строя значимость территориальных признаков может сводиться почти к нулю (в качестве простейшего примера сошлемся на роль кочевого быта, способствующего нивелировке диалектологических различий).⁵

Мы не говорим уже о том, что целый ряд вторичных признаков, принадлежащих высоким ступеням экономического быта, в том числе, например, усовершенствованные пути сообщения, а с другой стороны (и прежде всего), и сам момент перехода к товарному хозяйству (взамен натурального) способствует разрушению старых перегородок между замкнутыми внутри себя отдельными общинами (территориальными коллективами), а параллельно этому идет на слом и старая диалектологическая структура данного языка. Итак, по мере хода экономической эволюции, т.е. по мере достижения относительно высоких социально-экономических ступеней, происходит объединение территориальных диалектов — сначала во внутрирайонном, а потом и в междурайонном масштабе, когда, следовательно, один диалект распространяется по всей территории данного коллектива, т.е. осуществляется „койнэизация“ данного языка.

Но деление на территориальные диалекты (*respective* наречия, говоры) — это не единственное деление языка (языка, как совокупности говоров некоего нацколлектива). Рядом с ним существует деление на к л а с с о -

¹ При чем „семейный говор“ (в современном быту) соответствует уже минимальному коллективу из числа тех коллективов, которые могут быть характеризованы специфическими языковыми чертами.

² Разумеется, это указание на значимость территориального момента (—ставимого нами на первое место потому, что в лингвистической литературе мы прежде всего и чаще всего сталкиваемся с понятием территориального, а не социально-группового, диалекта), не должно быть понимаемо, как допущение некоего особого, не входящего в число экономических факторов, т.е. неэкономического фактора языкового бытия и языковой истории. Позволяю себе не останавливаться здесь на пояснении того, что территориальный момент оказывается действенным (для области языковых явлений) не сам по себе, а лишь через посредство связанных с ним экономических факторов.

³ Наибольшую значимость в смысле предпосылок языкового общения имеют, конечно, связи производственно-кооперативные.

⁴ И именно потому, что территориальный момент не играет самодовлеющей роли в мотивировке языковых явлений и с ним здесь приходится считаться лишь как с одним из частных признаков, входящих в данную экономическую ситуацию.

⁵ Сравн., например, почти однородный состав казакского языка (т.е. языка кочевого скотоводческого нацколлектива), относительно которого неоднократно писалось, что он (казакский язык) „не имеет диалектов“ (а лишь диалектологические различия говорного порядка), и с другой стороны — диалектологическое разнообразие узбекского языка, в том числе и „собственно-узбекского“, или „хыпчакского наречия“, которое в генеалогическом отношении оказывается с м е ж н ы м казакскому языку, и дифференцировалось от последнего лишь в силу экономического выделения по признаку оседлости и земледелия.

вые и прочие социально-групповые (профессиональные, прослойковые и т. д.) диалекты¹.

Классовое расслоение (и в каждом из территориальных пунктов и в данной национальности, как в целом) обуславливает то, что внутри каждой из данных социальных групп, в частности, внутри классов накапливаются ряды специфических для данной группы тем языкового общения, в которых — в виде нормы — не принимают участия представители других социальных групп (других классов). Например, в языковое общение по непосредственным заданиям экономического потребления нередко входят и представители буржуазии, и представители пролетариата. Но, например, вся область так называемой духовной культуры, осуществляющаяся посредством языка (в частности, литературное творчество, характерное для данного класса), обычно исчерпывается случаями замкнутого внутри данного класса общения. Крестьянская устная литература Олонецкого, например, края² является вполне замкнутым классовым творчеством, — литературой (устной литературой) крестьянской и для крестьянства³. И наоборот, все почти виды словесного искусства буржуазии служат самой этой буржуазии (включая сюда, разумеется, буржуазную интеллигенцию)⁴.

А в связи с этим и сам язык данного классового литературного творчества оказывается чуждым и малопонятным для других классов, т.-е. принадлежит к чуждому им классовому диалекту.

Итак, наряду с понятием территориального диалекта (respective наречия, говора) мы должны иметь в виду и социально-групповое деление языка, которое, в свою очередь, обнаруживает ряд единиц различного порядка — классовые диалекты, профессиональные диалекты (или говоры), функциональные, т.-е. специфические по своему заданию, жаргоны, например, криптолалического, т.-е. потайного характера, каковым является так называемая „блатная музыка“ — жаргон уголовных профессий и т. д. и т. д.

Однако, излагать в настоящем „Введении“ диалектологическое деление русского языка как на территориальные, так и на социально-групповые диалекты у нас нет никакой возможности. Нам здесь необходимо лишь указать — какую же именно диалектологическую единицу (какой из говоров русского языка) мы будем описывать в нашей грамматике русского языка?

Таковым диалектом будет служить так называемый стандартный, или литературный, русский язык.⁵ Называя его „стандартным“ (от ан-

¹ Условливаясь употреблять термин „социально-групповой диалект“ в качестве общего — родового термина и для классовых и для всех прочих разновидностей диалектов, специфической характеристикой которых служит не территориальный, а социальный признак.

² Сюда относится так называемое былинное народное творчество — былины про старших и младших богатырей и исторические песни.

³ Разумеется, с точки зрения современного бытия этой устной литературы, а не с точки зрения происхождения данных ее сюжетов, впервые созданных, наоборот, в совершенно иной классовой среде древней феодальной Руси.

⁴ Таким образом, и развивающееся в революционную эпоху классовое пролетарское (а также крестьянское) литературное творчество находит своих потребителей (читателей) именно в рядах трудящихся классов; для лиц со старорежимной (буржуазно-феодальной) классовой психологией оно не представляет интереса и по своим темам и по их разработке. А это является уже предпосылкой и для классового обособления языка пролетарской и крестьянской литературы — от традиционного буржуазно-литературного языка (ныне продолжающего, между прочим, еще свое существование в заграничных изданиях бело-эмигрантского лагеря).

⁵ Территориально-диалектическую характеристику этого диалекта (стандартного русского языка) невозможно дать в двух словах (как мы увидим из нижеследующего). Если бы мы сказали, что в грамматике описывается говор города Москвы, то это определение было бы не только не полным и не точным, но, в известном отношении, и просто неверным, ибо в вопросе о произношении буквы *щ* мы предпочитаем следовать именно не московскому, а ленинградскому подговору т. н. „обще-русского“, т.-е. стандартного диалекта. В историческом же отношении этот стандартный диалект как в ленинградском, так и в московском, и в саратовском, и во владивостокском и т. д. и т. д. произношениях, иначе говоря во всех

глийского standard в смысле „правильный“), мы должны, однако, помнить, что никакого объективного критерия „стандартности“, или „правильности“ того или другого диалекта по сравнению с другими диалектами не существует. Иначе говоря, с объективной точки зрения все коллективные диалекты и все коллективные говоры (любого языка) оказываются правильными. Нет никакой, например, возможности объективного доказательства того, что „*рука́м рабо́тать*“, „*нога́м дры́гать*“ словосочетания неправильные, а „*рука́ми рабо́тать*“, „*нога́ми дры́гать*“ — наоборот, правильные; что родительный падеж „*пу́тя*“ и творительный „*зна́мем*“ — неправильные, а „*пути*“ и „*зна́менем*“ наоборот, правильные формы².

Это значит, что понятие „правильности“, или „стандартности“, тех или иных языковых фактов (или диалектов в целом) фактически означает ни более, ни менее, как субъективную привычность этих языковых фактов (и их совокупности в виде „стандартного диалекта“) для той социальной группы данного нацколлектива, на долю которой выпала историческая роль канонизации языковых норм. Вполне естественно и не нуждается в особых пояснениях то, что эта роль судьи, или оценщика „правильности“ и „неправильности“ языковых фактов, всегда выпадает на долю культурной верхушки господствовавшего в данный исторический период класса. Иначе говоря, стандартный диалект данной эпохи и есть социально групповой, и именно классовый диалект данной культурно- и политически-господствующей классовой группы (ибо „правильным“ становится то, что для этой группы привычно).

Социально-экономическое определение этой господствующей группы даст нам и социологическую характеристику стандартного языка данной эпохи.

Для дореволюционного периода XX века, как и для второй половины XIX века, в роли носителя (или так называемого „социального субстрата“) русского стандартного, или литературного, языка выступает, разумеется, буржуазная интеллигенция. Иначе говоря, язык Достоевского, как и язык Чехова, или Андреева и т. п. — это разные периоды и виды классового языка русской буржуазной интеллигенции.

Революционная эпоха вносит уже существенные поправки в это (социальное) определение русского „стандарта“. Ее существеннейшим сдвигом в плоскости языковой культуры является расширение „социального субстрата“ (т. е. контингента носителей) русского стандартного языка. В круг носителей последнего вошло и продолжает входить много новых элементов, и мы имеем право утверждать, что социальный субстрат совре-

своих территориальных подговорных вариациях, конечно, может считаться потомком говора Москвы XVIII—XIX веков), но лишь с двумя обязательными „нотабена“, (или оговорками): 1) об определенном классовом характере той речевой системы (внутри старого московского говора), которая послужила источником обще-русского стандарта; 2) о метисации живой русской, т. е. восточно-славянской, речи и книжного церковно-славянского, или древне-болгарского, т. е. южно-славянского языка — в течение всей истории предков нашего стандартного языка, начиная с XI века.

² И уже если подходить к языковым фактам с оценочной точкой зрения, то можно говорить не о „правильности“ и „неправильности“, а об относительной большей или меньшей выгодности (утилитарности) той или другой формы, или того или другого словосочетания и т. д. И с этой последней точки зрения нам, конечно, нужно будет предпо-

читать (т. е. счесть за более утилитарные) „неправильные“ формы *пу́тя* и *зна́мем*, *рука́м рабо́тать*, *нога́м дры́гать* и т. п. Применение оценочной точки зрения к языковым явлениям мы находим, напр., в книге датского лингвиста Jespersen'a: „The progress in the language“, окончательно развенчивающей мнимое совершенство древнего индо-европейского — в частности, праязыкового — морфологического строя; утилитарными оказываются, наоборот, морфологические факты, типичные для таких языков, как турецкие (т. е. для „аглоutinативны“) или для таких, как китайский или же ново-английский (т. е. для „изолирующих“ языков).

менного стандарта — это уже не старая интеллигенция,¹ а советская интеллигенция, в состав которой входят: революционный актив интеллигенции, культурные верхи рабочего класса и многочисленные — опять-таки передовые — элементы колхозного крестьянства (которому в дореволюционную эпоху, разумеется, был отрезан путь приобщения к культуре и ее орудиям, в числе которых стоит, конечно, и стандартный язык).

Так, следовательно, эволюционируя по направлению к признаку бесклассовости (в будущем бесклассовом социалистическом обществе), современный советский русский стандарт есть язык определенного социального коллектива — культурной верхушки советской общественности, — коллектива, который по статистическому и социальному своему составу оказывается гораздо более значительным, чем субстрат стандартного русского языка в дореволюционную эпоху.

Обратимся теперь к термину „литературный“ язык (который мы условно и именно в применении к русскому языку позволили себе употреблять в качестве синонима к термину „стандартный язык“). Буквальное понимание этого термина — как „язык литературы“ — далеко не исчерпывает того смысла, который весьма многими авторами вкладывается в это выражение. Именно под „литературным языком“ весьма многие авторы понимают не что иное, как „стандартный язык“ как в его устной, так и в письменной форме. В тех случаях, когда культурно и политически господствующая верхушка (как напр., русская интеллигенция конца XIX и начала XX веков) говорит, в общем, на том же языке, каким и пишет, оба значения термина „литературный язык“ („стандартный язык“ и „язык литературы“) до известной степени совпадут, т.е. стандартный язык будет в то же время и языком письменной литературы.

Но не надо забывать, что совершенно полное тождество разговорного (стандартного) и письменного (литературного) языка вряд ли где-либо встречается в истории языковых культур.²

А в конкретных языковых историях (различных языков) мы гораздо чаще имеем дело, наоборот, с весьма крупным расхождением между письменным и устным языком, в частности, с существованием двух стандартов: письменного и устного, каждый из которых представляет самостоятельную диалектическую систему. Так, например, обстоит дело с японским языком; разница между обоими японскими стандартами (письменным, на котором никто в настоящее время не говорит, и устным говором столицы Токкио) очень велика и приблизительно может быть приравнена к различию между латинским и современным итальянским языками.

¹ А часть старой интеллигенции и территориально выбыла из контингента носителей „русского языка советской эпохи“: мы имеем ввиду эмигрантствующую бело-вардейскую интеллигенцию. А так как в этой эмигрантской среде продолжается традиция старого, дореволюционного „обще-русского“ стандарта (в виде литературного языка качественно отличного от нашего — советского литературного стандарта, во-первых, по своему словарю, во-вторых, — по своей орфографии: с буквами „ять“, „ита“, с твердым знаком на конце слов и проч.), то мы вправе видеть здесь случай диалектологического дробления языка — именно дробление „стандарта“ до, эволюционной эпохи. Этот дореволюционный „обще-русский литературный язык“ оказывается, следовательно, праязыком, т.е. языком-источником, по отношению к обоим его продолжателям: 1) советскому литературному языку и 2) языку белой эмиграции.

К наиболее совершенным примерам этого тождества относятся некоторые случаи рожденных революцией новых письменных языков — у бывших бесписьменных национальностей Союза. Но там где имело место не создание, а возрождение уже ранее существовавшей письменной культуры, мы обычно встречаем, наоборот, продолжение старой традиции и письменного языка, удалявшей письменный язык от живого разговорного, в ущерб общему принципу советской языковой политики, требующей от письменного стандарта максимальной легкости, что осуществимо, конечно, лишь при условии возможно полной его близости к массовой устной речи. Ярким примером такого расхождения письменного и устного языков может служить литературный таджикский язык, который, особенно до декретирования латинизации графики, был почти во всех отношениях буквальной копией персидского письменного языка.

Подобное же расхождение между письменным литературным языком и живыми устными говорами имело место, вплоть до самого последнего времени, и в узбекском, где только сравнительно недавно стали сознательно игнорировать (хотя не до конца, однако!) традиционные особенности письменного языка, т.е. стали писать более или менее „по-разговорному“.

А в средние века, как и в начале „нового времени“, вплоть до реформации, такое положение дела было типично для большинства языков Европы, при чем особую резкость факт этот имел именно в средневековье. Особо характерны те из относящихся сюда случаев, когда письменным языком был латинский язык¹ (у народа, говорившего на совсем уже ином — новой формации — языке): сравн. выступление Данте с его трактатом „De vulgari eloquentia“² в защиту прав итальянского языка (как и других живых романских языков) на литературное существование.

В значительной мере то же мы видим и в прошлом истории русского литературного (письменного) языка, особенно на ее первоначальных этапах. Строго говоря, в своем первоначальном виде это был даже вовсе не русский, а другой из славянских языков — древне-болгарский, обычно называемый церковно-славянским, или древне-церковно-славянским. Механически-пересаженный, в качестве языка „священного писания“ и, следовательно, литературного языка, на русскую почву, этот древне-церковно-славянский язык, в сущности, может считаться предком, т.е. историческим источником всех последующих русских литературных языков на всех последующих исторических этапах, включая даже наш стандартный, или литературный язык революционной эпохи.³ На протяжении всей этой линии эволюционного развития — от языка Остромирова Евангелия 1066 г. до литературного языка второй четверти XX века — произошло, конечно, не мало сдвигов в социологической характеристике носителей литературно-языковой традиции; поскольку, однако, все эти последовательно сменявшие друг друга „социальные субстраты“ представляли, все-таки, во все время указанной эволюции русскую по национальному признаку среду, все время продолжался процесс обрусения литературного языка, т.е. смешения церковно-славянской его основы с живыми говорами русского населения.

На первом этапе этого преемства (от одной социальной группы к другой) в роли носителя книжного языка выступает, конечно, древне-

¹ Сравн. аналогичное же положение у некоторых мусульманских народов, иногда вплоть до революционной эпохи: так, напр., у чеченцев и у аварцев своей собственной письменности вовсе не было, и роль письменного языка выполнял арабский язык. Правда, грамотных и знающих арабский язык было среди чеченцев и аварцев очень немного (т.е. этот письменный (арабский) язык не имел широкого применения, но одной из причин этого чрезвычайно низкого уровня грамотности именно и было то, что на родном языке вовсе нельзя было писать и, чтобы быть грамотным, нужно было усвоить столь трудный арабский язык, не односторонний языкам данных национальностей.

² Буквально: „О народном красноречии“, что по сути дела можно было бы перевести: „О народном (массовом) языке“.

³ В виде общего принципа, характерного для всякой линии эволюции (не только письменного, но и устного) стандартного языка, можно утверждать следующее: когда наступает новый этап в преемстве данного стандартного языка от одной культурно- и политически господствовавшей классовой группы к другой, то благодаря колоссальной значимости традиции, новая господствующая группа (новый социальный субстрат) продолжает пользоваться готовым составом стандартного языка, т.е. просто наследует стандартный язык предыдущего исторического этапа, и лишь во вторую очередь далеко не сразу, не одновременно, а наоборот, на протяжении всего периода своего политического господства осуществляет приспособление этого языка к своей социальной природе, т.е. вносит в него черты, отображающие специфические особенности (экономического быта, классовой психологии и т.д. и т.д.) данной новой группы. При этом, в числе этих новшеств оказываются как положительные, так и отрицательные признаки, т.е. не только, например, пополнение словаря новыми, характерными для новой группы, терминами, но и изгнание из словаря старых терминов, неприемлемых с точки зрения классовой психологии и идеологии нового господствующего класса: сравн., например, ликвидацию таких выражений, как *господин*, *милостивый государь*, *ваш покорный слуга* и т.п., в стандартном языке, унаследованном советской общественностью от предшествующего его „социального субстрата“.

русское духовенство и, главным образом, духовенство южно-русское, киевское. Оно-то и было „культурной верхушкой“ своего времени. Следы этого периода, когда оформляющая роль принадлежала именно священникам киевлянам, до сих пор усматриваются в известных конкретных признаках нашего стандартного языка, в частности, в специфическом характере согласного *з* в словах церковного, по преимуществу, употребления: *господи, бога-богу* и т. д. (родительный и другие падежи от *бог*), *бла́го* и т. п.; черта эта, обязанная своим происхождением влиянию киевского духовенства, уцелевает вплоть до начала XX века и легко может отмечена даже в наше время у представителей современного старшего поколения.¹ По мере того, как московский абсолютизм мало-помалу отнимал „командные высоты“ у церковной власти, постепенно совершается и метаморфоза социального субстрата русского письменного языка: от киевского иерея эстафета истории книжного языка переходит к дьяку московских приказов, от церкви к бюрократии. Процесс этот, повторяем, носил постепенный характер, но в известной степени его можно все таки датировать, или по крайней мере отметить в нем известные хронологические вехи (хотя бы и грубо-приблизительные): это — создание постоянных канцелярий, возглавляемых дьяками, иначе говоря, организация бюрократических учреждений, совпадающая с социальным оформлением бюрократии и имевшая место уже в XIV веке (в XV же веке мы застаем уже завершение этого процесса в организации центральных, „приказов“, т. е. министерств Московской Руси). К этому же, приблизительно, периоду, повидимому, отнесется и качественный сдвиг в самом составе письменного языка в сторону его секуляризации: начиная с XIII и, главным образом, именно в XIV веке появляется „светский“ письменный стиль, отражающий живые говоры тогдашней русской речи;² этим „светским стилем“ пишутся именно „грамоты“, т. е. юридические и административные документы, а также и летописи, тогда как в духовных (религиозных) сочинениях по-прежнему господствует традиция церковно-славянского (древне-болгарского) языка.

Конечно, в последующих XVI и XVII столетиях борьба между духовенством и светской бюрократией продолжается, но уже с явным перевесом на стороне последней (вплоть до окончательного уничтожения теократизма при Петре I, когда упраздняется патриаршество, и церковь оказывается подчиненной светскому „ober-прокурору святейшего синода“) и соответственно этому главное место в составе „социального субстрата“, т. е. в контингенте носителей тогдашнего письменного языка, занимает именно центральная, т. е. московская, бюрократия. Отсюда, т. е. от социальной характеристики письменного языка в XVI—XVII веках, недалеко, по существу дела и XVIII век (первая, по крайней мере, его половина), когда судьба письменного языка опять-таки оказывается в руках бюрократии, но уже не московской, а петербургской (при чем не надо, однако, забывать про сдвиг иного рода, в ином направлении: про замену греческого, по преимуществу, влияния,³ характерного для предшествующих периодов, западно европейским.)

Наконец, три последних этапа:

1^о. Первый из этих этапов: конец XVIII и первая половина XIX века. Языковая эстафета в руках дворянства, или дворянской (феодальной) интеллигенции, которая впервые осуществляет и „койнэизацию“ устного языка,

¹ Подробнее об этой черте, т. е. об употреблении „проточного“ *з* в данных словах, говорится в разделе „Фонетика“.

² Но, конечно, не какой-либо единый „обще-русский“ говор: для установления устного стандарта, т. е. для междурайонной „койнэизации“ еще не было почвы, как ее не было и в экономических условиях последующих периодов вплоть до второй половины XVIII века (см. ниже).

³ Кроме греческого влияния на письменный язык Московской Руси можно отметить еще вторичное юго-славянское (болгарское и сербское) и, наконец, — в XVII, преимущественно, веке — польское влияние.

т.-е. начинает говорить уже не на местных территориальных говорах, а на одном и том же столичном — московском — диалекте, превращающемся таким образом в классовый „обще-русский“ язык.¹

2°. Вторая половина XIX века и дореволюционные годы XX века. Эстафета стандартного языка переходит к „разночинцам“, т.-е. к интеллигенции буржуазной.

3°. Наконец, самый последний этап, начатый 1917 годом, окончательно тасует состав социального субстрата литературного (и устного стандартного) языка, вводя в него кроме занимающего организующую позицию революционного актива интеллигенции — многочисленные передовые элементы рабочего класса и крестьянства, т.-е. тех классов, которые во все предшествующие эпохи стояли вне стандартно-языкового развития.

Из этого краткого исторического очерка мы можем уже уяснить себе и генеалогическую характеристику нашего литературного (письменно-литературного, а также и устного стандартного) языка.

Представляя собою продукт смешения, или метисации² церковно-славянского, т.-е. древне-болгарского, языка и московского говора устной русской (великорусской) речи, современный стандарт обнаруживает и в своем словаре, и в морфологии (т.-е. в грамматических формах) как церковно-славянские, так и чисто русские элементы.

При этом иногда мы наталкиваемся на две дублетных формы одного и того же слова, одна из которых оказывается по происхождению церковно-славянской, т.-е. усвоенной из письменного древне-болгарского языка, а другая — чисто русской, т.-е. восходящей к устной древне-русской речи. Приведу некоторые примеры таких дублетов:

1. Слова, содержащие в себе комплексы *оро*, *оло*, *ере* в противоположность комплексам *ра*, *ла*, *ре* в составе других, однозначных с ними, т.-е. дублетных слов, оказываются чисто русскими по происхождению словами. А их дублеты, содержащие в себе *ра*, *ла*, *ре* (на месте *оро*, *оло*, *ере*), происходят, наоборот, из древне-болгарского (церковно-славянского) письменного языка, т.-е. являются „церковно-славянизмами“ современного русского языка. Примеры:

1. *Город* — чисто русское по своему происхождению слово; но дублетное слово *град* (в настоящее время уцелевавшее главным образом в сложных названиях отдельных городов: *Ленинград*, *Сталинград* и т. п.), наоборот, церковнославянизм, т.-е. представляет собою не что иное, как соответствующее древне-болгарское слово *градъ* [со значением „город“].³

2. *Сторона* — чисто русское слово, а *страна* — церковно-славянизм, т.-е. соответствующий дублет древне болгарского происхождения (правда, не с тождественным, но близким значением).

¹ Кроме этого объединения на почве устного „обще-русского“ языка, дворянская интеллигенция объединялась еще и другим классовым языком, который точно так же (и даже в большей мере чем русский стандарт) служил отличительным классовым признаком и признаком привилегированности этого господствовавшего класса: мы имеем в виду французский язык, владение которым считалось вполне обязательным, по крайней мере, для экономической и культурной верхушки дворянства.

² Метисацией, по терминологии Н. Я. Марра, называется смешение родственных языков или диалектов — в отличие от гибридизации — смешения неродственных языков. Русский же и болгарский являются именно родственными языками, так как принадлежат к одной и той же группе (или „семье“ языков: к славянским языкам. В группу, или „семью“ славянских языков входят следующие языки: а) южно-славянские: болгарский, сербский, или сербо-хорватский, словенский и другие мелкие; б) западно-славянские: польский, чешский, словацкий и др. мелкие; в) восточно-славянские: русский — великорусский с белорусским и украинский.

³ В качестве дальнейшего, т.-е. более отдаленного родственника данных двух слов (чисто русского *город* и церковно-славянского *град*), принадлежащего уже не славянской, а германской семье языков, можно указать на немецкое слово *Garten* „сад“; значение „сад“ в немецком и значение „город“ в славянских языках разъясняются из того, что первоначально данное слово означало огороженное место; сравн. между прочим, и русское *огород* (*о-город*), а с другой стороны и церковнославянизм *ограда* (*о-гра-да*).